

Д.ЛИТВИНОВ



идеальный
СНИМОК

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Дмитрий Литвинов

Идеальный снимок

<https://litres.ru/73940688>

SelfPub; 2026

Аннотация

ИДЕАЛЬНЫЙ СНИМОК

Психологический триллер

Аннотация

Он снимает чужую боль. Он называет это искусством. Он говорит себе, что он просто наблюдатель.

Алексей — свадебный фотограф, который однажды сделал кадр, изменивший всё. Теперь он одержим моментами истины — теми секундами, когда слетает маска и обнажается то, что люди прячут даже от себя. От уличных драк до секретных операций теневого правосудия — его объектив становится оружием, а голос — приговором.

Но у каждой охоты есть цена. Когда Алексей добирается до последней цели, видеоискатель разворачивается. И теперь он сам — тот, за кем наблюдают.

Психологический триллер о природе одержимости, цене выбора и зеркале, в которое страшно заглянуть.

18+

Содержание

Глава	4
Часть I. Видоискатель	5
Глава 1. Крысиный бег	5
Глава 2. Спусковой крючок	10
Глава 3. Хирургия	16
Глава 4. Галерея	24
Глава 5. Порог	31
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Идеальный снимок

Глава

Пролог. Идеальный снимок

Я — фотограф. Снимаю моменты, когда человек забывает, что на него смотрят. Когда маска сползает, а наружу вылезает правда.

Три месяца назад я увидел аварию: девушка сбила велосипедиста. Она кричала, звала на помощь. Я поднял камеру и сделал кадр. Её глаза — чистый ужас. Никакой игры. Настоящее.

Я думал, это предел. Ошибался.

Во вторник я ехал по мосту и заметил мужчину у перил. Закатный свет. Золотой контур. Он плакал. Я снимал, пока он перелезал через ограждение. Мог крикнуть. Не крикнул. Он обернулся, увидел меня, увидел камеру — и улыбнулся. С презрением. Шагнул.

Я нажал на спуск. Шедевр.

Теперь я не сплю ночами. Кто я — художник или хищник? Не знаю. Но свет сегодня снова хорош. И где-то там, за окном, новая драма. Камера заряжена. Искусство требует жертв.

Я просто делаю свою работу.

Часть I. Видоискатель

Глава 1. Крысиный бег

Свадьба дышала в затылок перегаром и кислым шампанским.

Я стоял у колонны, обтянутой дешёвым белым атласом, и смотрел, как жених — лысеющий, потный, в съехавшем набок галстуке — пытается изобразить страсть. Его ладонь лезла невесте под платье, та хихикала и отводила руку, но не слишком решительно. Гости орали «горько». Тамада, красномордый мужик с золотой цепью поверх рубашки, дудел в дудку. Софиты мигали, как предсмертная агония.

Я ненавидел их всех.

Ненавидел эту лепнину из пенопласта, с которой свисали пожухлые шары. Ненавидел запах — смесь духов «Красная Москва», пота и подгоревшего мяса из кухни. Ненавидел своё отражение в зеркальной колонне: мужик за тридцать, с камерой наперевес, с застывшей улыбкой, которую он натягивает как презерватив — для защиты.

Мне тридцать два. У меня диплом ВГИКа, который лежит в ящике стола и, кажется, уже покрылся плесенью. У меня жена Катя — женщина, которая ещё верит, что я «творческая личность в поиске». Она всё ещё задаёт вопросы про

мои проекты, всё ещё всматривается в моё лицо по вечерам, пытаюсь найти там того парня, за которого выходила. Того, кто говорил, что станет великим фотографом. Того, кто ещё умел смеяться.

Тот парень умер. Я не знаю когда. Может, в первую брачную ночь. Может, когда мы взяли ипотеку. Может, когда я в сотый раз нажал на спуск, снимая чужое счастье, в которое не верил.

У меня ипотека, которую надо платить каждый месяц. У меня старая «Мазда», которая жрёт масло. У меня геморрой от сидячей работы и гастрит от фастфуда на заправках. У меня мечта — когда-нибудь снять что-то настоящее.

Но настоящее не приходит на свадьбы. Настоящее не позирует перед камерой с букетом из роз, купленных в переходе. Настоящее — это когда человек забывает, что на него смотрят. Когда маска сползает, как косметика под дождём, и наружу вылезает то, что он прячет даже от себя.

Я искал это настоящее пятнадцать лет. И нашёл его случайно, дождливым вечером в сентябре.

Дождь хлестал по лобовому стеклу так, что дворники не справлялись. Я возвращался с юбилея какой-то чиновницы — снимал, как гости дарили конверты с деньгами, как именинница к концу вечера так наклюкалась, что уснула лицом в салате. Я не стал это снимать. Дурак. Тогда я ещё думал, что есть вещи, которые нельзя фотографировать.

В машине пахло сыростью и остывшим кофе. В пепельни-

це лежали три бычка — я бросил курить два года назад, но в тот вечер сорвался. Руки дрожали — не от никотина, от усталости. Я крутил руль, смотрел на мокрый асфальт и думал, что жизнь — это бесконечная череда одинаковых дней, нанизанных на нитку, как дешёвые бусы.

Перекрёсток. Красный свет. Я остановился и потянулся к телефону — проверить, не написала ли Катя. Она писала редко. Мы оба разучились писать друг другу просто так.

И тут — удар.

Звук был такой, будто кто-то с размаху шарахнул металлической битой по капоту — только это был не мой капот. Я поднял голову и увидел, как что-то — нет, кто-то — перелетает через велосипед и падает на асфальт метрах в десяти от меня. Тело ударилось о землю с глухим, влажным шлепком, какой бывает, когда роняешь сырое мясо на кафель.

Девушка за рулём «Фольксвагена» выскочила из машины, даже не заглушив двигатель. Её дверь осталась распахнутой настежь, и дворники всё так же елозили по стеклу, размазывая дождь. Она сделала два шага к лежащему телу и замерла, как вкопанная. Её рот открылся, но крик застрял где-то в горле.

Свет фар выхватывал её лицо, как прожектор — актрису на сцене. Я видел каждую деталь: руки, взлетевшие к подбородку, побелевшие костяшки, обкусанный маникюр. Глаза, расширенные так, что зрачки заняли почти всю радужку. Тушь, которая уже потекла от дождя или от слёз — чёр-

ные дорожки на щеках, похожие на трещины на фарфоровой кукле.

Моя рука дёрнулась к бардачку. Там лежала камера — старая добрая Canon 5D, которую я всегда таскал с собой. Не потому что ждал чего-то. А потому что фотограф без камеры — как голый человек на морозе: вроде живой, но беззащитный.

Я выскочил из машины. Дождь ударил по лицу, потёк за шиворот. Я сжимал камеру, чувствуя знакомую тяжесть, холод металла, шершавость резиновой накладки. Тело действовало быстрее мозга — я уже поднимал объектив, уже наводил фокус, уже искал ракурс.

— Помогите! — закричала девушка, заметив меня. — Вызовите скорую! Пожалуйста!

Я не слышал её. В видеоискателе её лицо было идеальным. Дождь создавал фон — серебристую рябь. Свет фар рисовал резкие тени. А в глазах горело такое отчаяние, какого я не видел никогда. Это была не поза. Не игра. Это была чистая, незамутнённая правда.

Щёлк.

Затвор сработал. Я обходил её по кругу, как акула, и снимал — серийно, жадно. Крупный план глаз. Дрожащие пальцы, прижатые к губам. Брызги дождя на волосах. Парень на асфальте — неестественно вывернутая нога, струйка крови, смешивающаяся с водой.

— Вы! — она заметила, что я снимаю. — Какая, к чёрту,

камера?! Вызывайте скорую!

Я опустил камеру. Реальность вернулась рывком. Я сунул камеру под куртку и достал телефон.

Дальше всё было как в тумане. Приехали врачи, потом полиция. Меня допросили как свидетеля. Я отвечал односложно, механически. Девушка рыдала, прижимая к лицу платок. Парня увезли на носилках — живой, кажется.

Когда я вернулся домой, Катя уже спала. Я снял мокрую одежду, прошёл в кабинет, включил компьютер. Открыл карту памяти. И замер.

На экране было оно. То самое. Картинка, от которой невозможно оторваться. Я увеличил кадр — и увидел в её зрачках отражение фар, собственное искажённое лицо и лежащего на асфальте парня.

Я просидел перед монитором до утра. И знаете, что я чувствовал?

Ни капли стыда. Ни грамма сочувствия. Только восторг. Чистый, как первый глоток спирта на голодный желудок. Я попробовал настоящее — и уже не мог насытиться фальшивкой.

В то утро я понял: охота началась.

Глава 2. Спускной крючок

Я не спал трое суток.

Вру. Спал — урывками, по сорок минут, проваливаясь в липкое забытьё, из которого выдёргивал себя сам, как утопающий выдёргивает голову из воды. Катя ворочалась рядом, что-то бормотала во сне, а я лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок, по которому ползла трещина — тонкая, извилистая, похожая на маршрут моего падения.

Та фотография стояла у меня везде. На рабочем столе. На телефоне. Я распечатал её на старом струйнике, который давно пора было выбросить, и повесил над столом. Девушка с аварии смотрела на меня из темноты, и в её расширенных зрачках я видел собственное отражение.

Я должен был повторить это. Не ради славы. Не ради денег. Ради того, чтобы снова почувствовать тот электрический разряд, который прошёл через меня, когда я нажал на спуск.

Но мир не желал подыгрывать.

В понедельник я поехал в центр и встал у пешеходного перехода. Выбрал точку, прикинул свет, настроил выдержку. Ждал четыре часа. Люди текли мимо — серые, одинаковые, как картонные фигуры в тире. Старуха споткнулась о бордюр. Я вскинул камеру, но она просто выругалась матом и пошла дальше. Молодая пара поссорилась у входа в мет-

ро — девушка швырнула в парня букетом, но эмоция была мелкой, дешёвой, как мыльная опера.

Во вторник я напросился в ночную смену «Скорой». Димон, мой старый знакомый, пожал плечами и сказал: «Валяй, только под ногами не мешайся». Я наснимал усталых врачей, пьяного бомжа с рассечённой бровью, бабуку с сердечным приступом. Но стоило мне поднять камеру, как фельдшер загораживал кадр спиной, а медсестра шипела: «Убери, не до тебя». Я был чужим на этом празднике боли.

В среду я сорвался. Просто ездил по городу, крутил руль, курил в открытое окно и ненавидел себя за беспомощность.

А в четверг я понял: ждать бессмысленно. Надо создавать.

Парк встретил меня запахом прелых листьев и жжёного сахара — у входа стоял ларёк с вафлями. Солнце висело низко, светило сквозь голые ветки косыми золотыми лучами. Режимное время — так это называют фотографы. Час, когда тени становятся длинными, а свет — мягким и безжалостным одновременно. Идеальное время для охоты.

Я знал этот парк как свои пять пальцев. По четвергам здесь собирались мамы с колясками, пенсионеры с шахматами и подростки на скейтах. А у пруда, в беседке, облупленной и пропахшей мочой, обычно тусовались подвыпившие компании.

Мне нужна была такая компания. Мне нужен был конфликт.

Я нашёл их у ларька с мороженым. Трое парней и две де-

вушки, лет по двадцать, с банками дешёвого пива. Гоготали, матерились, кидали бычки в пруд. Девушки визжали, когда парни их щипали. Одна из них — крашеная блондинка с синяком на коленке — сидела на спинке скамейки и красила губы, глядя в осколок зеркала.

Я повесил камеру на шею и подошёл к ларьку. Заказал кофе, хотя не хотел. Просто чтобы занять руки. Сделал вид, что смотрю в телефон. Краем глаза следил за компанией.

— Э, слышь, папарацци! — голос разрезал воздух, как битое стекло.

Я обернулся. Кричал самый здоровый — в растянутой футболке с надписью «Спартак», с бычьей шеей и красными от алкоголя глазами.

— Чё снимаешь, а?

— Ничего. Птичек.

Я сказал это нарочно спокойно. Так спокойно, как говорят с теми, кого не считают равными. Это был расчёт: спокойствие бесит сильнее, чем ответная агрессия. Я знал это. Я рассчитывал на это.

— Птичек он снимает, — хмыкнул спартаковец и повернулся к друзьям. — А может, ты мою тёлку снимаешь, а? Может, ты извращенец?

Девушки захихикали. Блондинка показала мне средний палец.

Я поднял камеру и сделал кадр.

Щёлк.

Это был спусковой крючок. В переносном и в прямом смысле. Лицо спартаковца изменилось мгновенно — хмель выветрился, зрачки сузились, челюсть выдвинулась вперёд. Идеальная трансформация. Я снимал серийно, восемь кадров в секунду, пока он шёл ко мне, сокращая дистанцию. Три шага. Пять. Восемь.

— Ты охуел?!

Он схватил меня за объектив. Я видел его лицо в сантиметрах от моего: расширенные поры, красные прожилки в глазах, капилляры полопались от крика. Капля слюны в уголке рта. Запах перегара и лука.

Он замахнулся. Я не уворачивался. В последнюю секунду успел подумать: только бы камеру не разбил. Только бы камеру.

Удар пришёлся в скулу. Перед глазами вспыхнули искры — красные, жёлтые, белые. Я упал на одно колено, прижимая камеру к груди, как младенца. Второй удар — по затылку. Третий — ногой по рёбрам. Я считал удары и думал о светочувствительности матрицы. При такой тряске нужно ставить ISO повыше.

— Ты чё творишь, Дэн?! — визг блондинки.

— Пусть не снимает, мразь!

Ещё удар. По спине. Я свернулся калачиком, и мир сузился до размера моего тела, до вкуса крови на губах, до хруста собственных рёбер.

Потом топот ног. Мат. Звон разбитой бутылки. И тишина.

Я лежал на асфальте, прижимая камеру к груди, и улыбался. Разбитая губа саднила, солёный вкус крови тёк по подбородку. Но в груди, там, где должно быть сердце, разгорался огонь. Я сделал это. Я создал момент. Я был не просто свидетелем — я был режиссёром.

Дома Катя ахнула. Заставила меня сесть на табурет, принесла лёд, перекиль, бинты. Её пальцы дрожали, когда она прикладывала компресс к моей скуле. От неё пахло гелем для душа, лавандой, домом. Я смотрел на неё и не чувствовал ничего, кроме нетерпения: скорее бы она ушла, скорее бы я остался один и открыл снимки.

— Лёша, кто это сделал? Надо в полицию!

— Хулиганы. Я их не знаю. Случайно вышло.

Она поверила. Она всегда верила. Потому что любила меня — того меня, которого больше не существовало.

Я закрылся в кабинете. Вставил карту памяти. Открыл кадр номер тридцать семь.

Лицо Дэна за секунду до удара. Чистая ярость. Без примесей. Без фильтров. Глаза, в которых не осталось ничего человеческого — только звериный, первобытный гнев. Это была правда — такая же, как у девушки с аварии, только другого спектра. Там был ужас, здесь — агрессия. Но частота была той же. Та же чистота сигнала.

Я распечатал кадр и повесил на стену. Рядом с первым.

В ту ночь я не спал. Я смотрел на два снимка и понимал: это только начало. Теперь я знаю, как это работает. Нужно

быть внутри. Нужно провоцировать. Нужно становиться частью уравнения.

Стыда не было. Совесть молчала, как перерезанное горло. Было только возбуждение — чистое, холодное, как ртуть. Оно растекалось по венам и требовало продолжения.

На следующее утро я позвонил Димону.

— Слушай, есть разговор. Ты говорил, у вас там работы невпроворот. Я хочу посмотреть ещё раз. Поближе.

— Ближе некуда, там кровь, кишки. Тебе-то зачем?

Я улыбнулся в трубку.

— Для искусства.

Глава 3. Хирургия

Димон ждал меня у ворот городской больницы № 12. Курил, привалившись плечом к облупленной стене, на которой кто-то баллончиком вывел «Скорая — не помощь, а диагноз». Увидел мой синяк — желтовато-фиолетовый, уже третий день пошёл, расползся на пол-лица, как грозовая туча, — и присвистнул.

— Ничего себе тебя разукрасили. Это те самые хулиганы?

— Они самые, — я пожал плечами и поправил камеру на груди. Синяк ныл при каждом движении челюсти, но боль была почти приятной. Как напоминание. Как сувенир с первой настоящей охоты.

— А камера?

— Камера цела.

Он хмыкнул и бросил бычок в урну, откуда пахнуло кислым пеплом и гниющими объедками. Мы прошли через проходную. Вахтёрша — грузная тётка с бигуди под косынкой — едва подняла голову от кроссворда. «Сканворд», — машинально отметил я. Восемь букв по горизонтали: «Чувство утраты». Потеря. Пять букв: «То, что нельзя вернуть». Время.

Коридор встретил нас запахом хлорки, горелого лука из столовой и ещё чем-то — сладковатым, тошнотворным, что бывает только в больницах. Запах страдания. Запах тел, ко-

торые борются или уже перестали. Мои ноздри раздувались, впитывая его. Я шёл за Димоном и чувствовал себя гончей, взявшей след.

— Значит так, — сказал он, понизив голос, пока мы огибали каталку с капельницей, — я начальству сказал, что ты фотограф-документалист. Собираешь материал про героические будни скорой. Зовут Алексей. Фамилия не важна. Снимаешь только с разрешения пациента. Понял?

— Понял.

— Без разрешения — ни-ни. Если кто пожалуется — меня уволят к чёртовой матери, а тебя закроют за незаконное вторжение. Мне проблемы не нужны. У меня ипотека.

Я снова кивнул, но его слова уже пролетали мимо, как мухи за стеклом. Я смотрел на двери палат, на каталки, на бледные лица пациентов в инвалидных креслах и чувствовал, как внутри нарастает голод. Где-то здесь, за одной из этих дверей, прямо сейчас происходил момент. Момент, который никто не снимает. Момент, который ждал меня.

Первые два вызова были пустыми.

Старуха с давлением под двести. Её лицо было сморщенным, как печёное яблоко, а глаза — выцветшие, водянистые — смотрели в потолок с равнодушием человека, который уже всё видел и ничего не ждёт. Я сделал пару кадров для отмазки и убрал камеру. Пусто.

Мужик на стройке, упавший с лесов. Сломанная ключица, мат слоями, как геологические породы. Он крыл прораба,

технику безопасности, свою жену и весь белый свет. Я снимал, но чувствовал фальшь. Его злость была поверхностной, бытовой, как царапина на лакированном столе. Не глубина. Не бездна. Так, рябь на воде.

Настоящее пришло на третьем вызове.

ДТП на пересечении Садового и Тверской. Когда мы подъехали, там уже были пожарные. Две машины — одна всмятку, вторая перевернута на крышу и лежала, как мёртвый жук, растопырив колёса. В воздухе стоял запах бензина, жжёной резины и чего-то металлического — кровь, смешанная с дождём, пахнет именно так.

— Стой здесь, — бросил Димон и побежал к машинам.

Я не послушался. Я вышел из скорой, держа камеру наготове, и медленно, шаг за шагом, приблизился к месту. Искры от болгарки летели во все стороны, как злые светлячки. Пожарные орали друг другу команды, их лица были мокрыми от пота, несмотря на ноябрьский холод.

Я подошёл ближе. И увидел её.

Женщина на переднем сиденье. Её зажало между сработавшей подушкой безопасности и смятым металлом. Лицо было в крови, но глаза — открыты. Она смотрела не на пожарных, не на врачей. Она смотрела прямо на меня.

И в этом взгляде было всё.

Сначала я подумал: боль. Просто боль. Но нет — боль была только фоном, как шум дождя за окном. Главное лежало глубже. Страх. Не тот животный страх, который я видел у

девушки с аварии. Другой. Страх женщины, которая знает, что может умереть, и в этот момент понимает: её жизнь была не тем, чем она её считала. Пустота. Одиночество. Сожаление о несделанном.

Я поднял камеру.

Щёлк. Общий план: искорёженный металл, пожарные, дым, и в центре — она.

Щёлк. Крупный план: лицо, залитое кровью, глаза, устремлённые прямо в объектив. Зрачки расширены, как чёрные дыры.

Щёлк. Деталь: её пальцы, вцепившиеся в ремень безопасности, побелевшие костяшки, обручальное кольцо на безымянном — простое, золотое, без камней.

— Отойди! — кто-то толкнул меня в плечо. Пожарный, в каске, с лицом, перепачканным сажей. — Не видишь, бензин течёт?! Хочешь взлететь на воздух вместе с ней?

Я отступил на шаг. Потом ещё на шаг. Пожарные вытащили женщину, переложили на носилки. Димон уже бежал с капельницей, что-то кричал про давление. Я стоял в стороне и отсматривал кадры на экране камеры.

Они дрожали у меня в руках как живые.

Второй раз за этот вечер. Сначала ДТП, теперь это. Что-то внутри меня перещёлкнулось с тихим, окончательным звуком — так ломается предохранитель, когда ток превышает предел. Раньше я ждал, пока случай подвернёт мне сюжет. Теперь я понял: случай — это математика. Больше выездов

— больше шансов. Больше шансов — больше кадров. Я должен быть везде, где больно. Везде, где страшно. Везде, где люди перестают быть людьми и становятся просто мясом.

— Алло? — голос из приёмного покоя. — Привезли пострадавшую, готовьте операционную.

Я поднял голову. Мы уже были в больнице. Женщину везли по коридору на каталке, и колёса скрипели в такт пикающим приборам. Капельница качалась, как маятник. Я шёл следом, не думая, не планируя. Просто шёл, потому что там, за дверями операционной, мог случиться ещё один момент.

В приёмном покое было шумно. Врачи перекрикивались, медсёстры бегали с анализами, кто-то стонал за ширмой, кто-то матерился вполголоса. Я шёл за каталкой, пока дорогу мне не преградила фигура.

— Ты кто такой?

Я опустил камеру.

Передо мной стояла девушка в голубом медицинском костюме. Лет двадцать пять. Волосы собраны в тугий пучок на затылке, но несколько прядей выбились и прилипли ко лбу — видимо, смена была долгой, а кондиционер не работал. На бейдже значилось: «Вера. Медсестра приёмного отделения».

— Фотограф, — сказал я. — Снимаю проект о скорой помощи.

— Фотограф, — повторила она, пробуя слово на вкус, как пробуют сомнительное лекарство. В её интонации был скепсис пополам с любопытством. — И что, интересно?

— Что именно?

— Снимать, как люди умирают. — Она не спрашивала. Она ставила диагноз.

— Я снимаю не смерть. Я снимаю правду.

Она коротко хмыкнула. Её серые глаза — я только сейчас заметил, что они серые, как ноябрьское небо, — смотрели на меня в упор, не мигая.

— Правду он снимает. Слушай, правдоруб. У нас тут реанимация, а не галерея. Если хочешь правды — иди в морг. Там её навалом, на любой вкус. А здесь люди ещё живут. Иногда.

— Я не за смертью. Я за моментами. Ты их видишь каждый день; я хочу, чтобы их увидели другие.

— Моменты? — она криво усмехнулась. — Хочешь момент? В третьей палате мужик узнал, что у него рак, и пытался повеситься на простыне. Санитары не дали. Сейчас лежит привязанный. Вот тебе момент.

Я открыл рот, чтобы ответить, но она уже отвернулась и пошла к каталке с женщиной из аварии. Я смотрел ей вслед и чувствовал странное беспокойство — смесь раздражения и заинтересованности. Она за пять минут увидела то, что я прятал от всех. Даже от себя.

Я запомнил её. Вера.

Женщину из аварии спасли. Операция длилась четыре часа. Я ждал в коридоре, сидя на жёстком пластиковом стуле, и слушал больницу. Она дышала вокруг меня, как огромный

зверь: скрипела каталками, пищала приборами, шептала голосами врачей. В три часа ночи в коридоре стало тихо. И в этой тишине я услышал шаги. Мягкие, почти кошачьи.

Вера села рядом. В руках у неё был бумажный стаканчик с кофе.

— Держи. Выглядишь как труп.

Я взял кофе. Он был горячим, обжигал пальцы сквозь тонкий картон. Пахло растворимым порошком и одиночеством.

— Зачем тебе это? — спросила она без всякого перехода.

— Проект.

— Проект, — она снова усмехнулась, но на этот раз в усмешке было меньше яда. — Я тут пять лет работаю. Видела всяких. Студентов-медиков, которые падают в обморок при виде крови. Санитаров, которые крадут лекарства. Родственников, которые надеются до последнего. Хирургов, которые специально зашивают салфетки внутри. И знаешь, что я поняла?

— Что?

— Никто сюда не приходит просто так. Всех что-то толкает. Деньги. Вина. Долг. Или другое. Тёмное. Что-то, о чём не говорят вслух.

Она повернулась ко мне. Её серые глаза смотрели прямо в душу, и я почувствовал себя голым. Как будто она видела все мои снимки, все мои мысли, всё то, что я прятал за словом «проект».

— У тебя это есть. Тёмное. Я вижу такие вещи. Это про-

фессиональное.

— И что же ты видишь?

— Вижу человека, который носит камеру как щит. Который смотрит на чужую боль, чтобы не чувствовать свою. Который приходит сюда не ради выставки. А ради чего-то ещё. Чего-то, о чём он сам пока не знает.

Повисла пауза. Где-то за стеной запищал кардиомонитор — ровно, спокойно. Жизнь продолжалась.

— Ты не ошибаешься, — сказал я. — Но и не права.

— В чём?

— Я знаю, зачем я здесь. Просто не готов это сказать вслух.

Она кивнула. Не стала допрашивать. Просто встала, сунула сигарету за ухо и пошла к ординаторской.

— Приходи ещё, — бросила она через плечо. — Тут всегда есть что снимать. И если захочешь — покажи потом. Мне интересно.

— Что именно?

— То, что ты видишь. То, чего не видит никто.

Она ушла. Я остался сидеть в пустом коридоре, сжимая остывший кофе, и впервые за долгое время почувствовал себя понятым.

И это пугало меня больше, чем собственная одержимость.

Глава 4. Галерея

Три недели пролетели как в лихорадке.

Я стал частью больничного пейзажа — привычной тенью, которая скользит по коридорам, не привлекая внимания. Вахтёрша больше не спрашивала пропуск, только кивала, не поднимая головы от кроссворда. Санитарка тётя Зина, приносявшая мне чай, смотрела с жалостью и подкладывала лишний кусок сахара. Даже охранник Коля, бывший мент, уволенный за пьянство, перестал проверять мою сумку — просто махал рукой: проходи, мол, художник.

Я отснял ещё три ДТП, два инфаркта, одну неудачную попытку суицида и десяток бытовых драк. Каждый вечер я садился за компьютер и пополнял коллекцию. Отдельная папка на рабочем столе. Двойное дно. Зашифрованный раздел на жёстком диске. Пароль — двадцатизначная комбинация из цифр, букв и символов, которую я не записывал нигде, только хранил в голове, как хранят номер счёта в швейцарском банке или имя первой любви.

Катя спрашивала, почему я поздно прихожу. Я бормотал что-то про внеурочную работу. Она больше не спорила. Просто смотрела на меня долгим, изучающим взглядом, а потом отворачивалась к телевизору. Между нами росла стена — кирпич за кирпичом, день за днём. Я сам складывал эту стену и сам же удивлялся, что она меня больше не видит.

Но проблема была в другом. Проблема, которую я осознал в начале четвёртой недели около трёх часов ночи, когда сидел перед монитором с красными от недосыпа глазами и прокручивал отснятое.

Кадры повторялись.

Тот же страх. Та же боль. Те же гримасы. Разные лица — да. Разные обстоятельства — да. Но эмоции были одинаковыми. Я мог бы составить коллаж: десять фотографий плачущих женщин, и никто бы не заметил разницы. Пять снимков агрессии — как под копирку. Три ужаса — стандарт, шаблон.

Я насытился. Как гурман, который объелся одним и тем же блюдом и теперь брезгливо отодвигает тарелку. Мне нужно было что-то другое. Что-то глубже. Что-то, чего я ещё не пробовал.

Тёмное.

Вера сказала тогда, в коридоре: у тебя есть тёмное. Она была права. Но я ещё даже не начинал его использовать.

В пятницу вечером я пригласил её к себе.

Это был риск. Просчитанный, но риск. Вера — единственный человек, который видел меня насквозь. Если она захочет — она может меня уничтожить. Одно слово главврачу — и меня выкинут из больницы. Одно слово Кате — и мой брак развалится. Одно слово куда надо — и я сяду за вмешательство в частную жизнь, за съёмку без согласия, за вуайеризм, за что угодно.

Но я почему-то знал, что она не скажет. Я чувствовал это

нутром — тем самым тёмным нутром, которое она разглядела раньше меня самого.

Она пришла в субботу днём. Катя была у матери — я специально выбрал этот день. Вера вошла в прихожую и огляделась, как оглядывают музейный зал, куда пришли впервые и пока не знают, стоит ли входной билет потраченных денег.

Потёртый паркет с щелями, в которые вечно забивалась пыль. Книжные полки вдоль стены — классика, до которой никому не было дела. Мой старый велосипед у двери. Катин зонт с цветочным узором. Запах вчерашнего ужина и пыли, которую никто не вытирал уже неделю.

— Мило, — сказала Вера без улыбки.

— Уютно, — поправил я.

— Уютно — это когда есть кот. У тебя кота нет. Значит, мило.

Я провёл её в кабинет. Закрыл дверь на щеколду — привычка, выработавшаяся за последние недели. Пододвинул стул.

— Садись.

Она села, сцепив пальцы на колене. Я включил монитор. Открыл папку.

— Я хочу, чтобы ты посмотрела.

— Зачем?

— Ты поймёшь.

Первый кадр — девушка с аварии. Тот самый. Крупный план глаз, отражение фар в зрачках. Вера посмотрела. Ниче-

го не сказала. Только дыхание стало чуть глубже.

Второй — спартаковец Дэн за секунду до удара. Ярость в чистом виде. Вера чуть наклонила голову. Ничего.

Третий — женщина из искорёженной машины. Пальцы на ремне, кольцо. Вера выдохнула. Но не так, как выдыхают от ужаса. Скорее — как выдыхают, когда наконец-то видят то, что давно искали.

Я показал ещё двадцать кадров. Хроника боли. Архив отчаяния. Библиотека всего, что люди прячут за улыбками. Каждый снимок был как удар — точный, выверенный, в одно и то же место. И Вера принимала эти удары молча, не отводя глаз.

Когда я закончил, она долго молчала. За окном шумел город — далёкий, равнодушный. В комнате гудел процессор. Пахло пылью и одиночеством.

— Ты это снял сам? — спросила она наконец.

— Сам.

— Ты был там? В каждый из этих моментов?

— Да.

Она повернулась ко мне. В её серых глазах я увидел не осуждение. Не страх. Что-то другое. Что-то похожее на узнавание.

— Я знала это, — сказала она тихо. — С первого дня знала.

— Что именно?

— Что ты не просто фотограф. Ты — охотник. Ты идёшь

по следу, пока остальные спят. Ты смотришь туда, куда остальные боятся заглянуть. Ты показываешь людям то, что они прячут. Только они об этом не знают.

Я молчал. Она попала в точку, и от этого было больно — как будто кто-то надавил на синяк, о котором ты почти забыл.

— Но есть проблема, — продолжила Вера. — Твои кадры... они однообразные. Боль. Страх. Агрессия. Это всё поверхность. Ты снимаешь момент, когда человек уже падает. А настоящее — оно до того. Настоящее — это когда человек знает, что упадёт, но ещё не упал. Когда он смотрит на край. Когда он решает.

У меня пересохло в горле. Она говорила именно то, что я чувствовал последние дни. То, что я не мог сформулировать. То, что вертелось на языке, но не находило слов.

— Момент выбора, — сказал я.

— Да. Момент, когда человек решает. И ты видишь это в его глазах. Не падение. А решение упасть.

Мы замолчали. Тишина в комнате стала плотной, почти осязаемой. Я смотрел на Веру и понимал: она опаснее, чем я думал. Она не просто понимает меня. Она может вести меня дальше, глубже, в такие слои тьмы, о которых я даже не подозревал.

— Откуда ты это знаешь? — спросил я.

Вера выдержала паузу. Потом закатала рукав медицинского костюма. На внутренней стороне предплечья, чуть ни-

же локтевого сгиба, белели шрамы. Аккуратные, ровные, параллельные друг другу. Такие не оставляют случайно. Такие оставляют, когда хотят что-то вспомнить. Или что-то забыть.

— Я знаю, как выглядит момент выбора. Я смотрела на него много раз. В зеркало. В лезвие. В темноту за окном.

Я ничего не сказал. Просто опустил глаза, а потом снова поднял их на неё.

— Я хочу снимать это, — сказал я. — Момент выбора. Но такие вещи не происходят в приённом покое. В больницу люди попадают уже после. Мне нужно быть раньше. Гораздо раньше.

— Я знаю одно место, — сказала она. — Хоспис за городом. Там люди, которые уже всё решили. Но до конца ещё не дошли. Они живут в промежутке. Каждый день — момент выбора. Каждую минуту они решают: держаться или отпустить. Там ты найдёшь то, что ищешь.

Хоспис.

Слово упало между нами, как камень в воду. Круги расходились в тишине. Я смотрел на Веру и понимал: она не просто даёт мне адрес. Она даёт мне ключ. Ключ к следующему уровню.

— Ты можешь меня провести?

— Могу. Я там волонтером по вторникам. Но у меня одно условие.

— Какое?

Она встала. Подошла к двери. Обернулась на пороге. В её

глазах — впервые за всё время — я увидел не скепсис. Не любопытство. А страх.

— Ты возьмёшь меня с собой. Я хочу видеть, что ты снимешь. Я хочу быть рядом, когда ты это сделаешь. Потому что я тоже ищу. Как и ты.

— Что ищешь?

— Ответ.

— На какой вопрос?

— На тот, который ты себе ещё не задал.

Она ушла. Я слышал, как хлопнула входная дверь. Потом тишина.

Я сел за компьютер и открыл фотографию девушки с аварии. Смотрел на неё минуту, две, три. И впервые она показалась мне не шедевром. А черновиком. Разминкой перед настоящим матчем.

Мне нужен хоспис. Мне нужны люди на краю. Мне нужен момент выбора.

А самое главное — у меня появился зритель. Единственный. Тот, кто понимает без слов. Тот, кто не осуждает.

И это делало меня опаснее в десять раз.

Глава 5. Порог

Хоспис находился в двадцати километрах от города, но дорога заняла целую вечность. Может, потому что время в ноябре течёт иначе — густое, вязкое, как остывший мёд. Может, потому что каждая минута ожидания разогревала меня изнутри, как предстартовая лихорадка.

Вера сидела за рулём своего старого «Ниссана» и молчала. Её пальцы сжимали руль с той особой цепкостью, какая бывает у людей, привыкших держать ситуацию под контролем — или делать вид, что держат. Я сидел рядом, прижимая к коленям кофр с камерой, и смотрел, как за окном проплывает ноябрьский пейзаж. Серые поля, покрытые жухлой травой. Голые деревья, тянущие к небу скрюченные ветки, похожие на пальцы нищих. Покосившиеся заборы. Вороны на проводах — чёрные, неподвижные, как нотные знаки на нотном стане. Всё мёртвое. Всё подходящее.

— Они знают, что я приеду? — спросил я.

— Я предупредила. Сказала главврачу, что ты фотограф-волонтер. Хочешь сделать серию портретов для благотворительной выставки. Фонд «Милосердие», сбор средств на новое оборудование.

— И они поверили?

— Люди верят в то, во что хотят верить. Администрации нужны деньги, новая вентиляция лёгких не помешает. Фо-

тограф из города — потенциальный спонсор. Никто не будет задавать вопросы. Главное — не забудь поставить штамп «волонтёр» на лоб.

Я хмыкнул. Вера продумала всё. Это одновременно и успокаивало, и настораживало. Она слишком хорошо понимала, как работают такие вещи. Как просачиваться сквозь закрытые двери. Как смотреть на запретное, прикрываясь благими намерениями. Словно всю жизнь только этим и занималась, а медицина была лишь прикрытием.

Хоспис оказался двухэтажным зданием из белого кирпича. Бывшая барская усадьба, перестроенная в советское время под больницу, а потом отданная под паллиативную помощь — так это называлось в документах. «Паллиативная помощь». Два слова, за которыми пряталась простая истина: здесь люди ждали смерти.

Снаружи здание выглядело почти уютно. Аккуратный сад с голыми клумбами, скамейки под старыми липами, мощёная дорожка, ведущая к крыльцу. Даже детская площадка — маленькая, с одной качелей и песочницей, засыпанной палыми листьями. Для внуков, которые приезжают навещать. Или уже не приезжают.

Но внутри — внутри всё было иначе.

Как только дверь за нами закрылась, меня ударил запах. Не хлорка, как в городской больнице. Не спирт, не лекарства. Что-то другое. Сладковато-кислый, с примесью морфина, старой ткани и ещё чего-то, чему я не мог подобрать на-

звания. Запах тел, которые перестали бороться. Запах времени, которое течёт к концу.

Вера поймала мой взгляд и ухмыльнулась.

— Это морфин. И ещё — застарелая боль. К ней не принохаешься, но со временем перестаёшь замечать.

Мы прошли через холл. На стенах висели картины — детские рисунки в дешёвых пластиковых рамках. Солнышки с кривыми лучами. Цветочки, похожие на взрывы. Человечки с улыбками до ушей, нарисованные неуверенной рукой. Благотворительная акция местной школы. Дети рисовали «счастье» для тех, у кого его почти не осталось. Дикий, разрывающий контраст с тем, что происходило за дверями палат.

Медсестра на посту — пожилая женщина с усталым лицом и крашеными в рыжий цвет волосами — подняла голову, кивнула Вере и скользнула по мне равнодушным взглядом. Волонтёры здесь были не в новинку. Волонтёры приходят и уходят. Пациенты — тоже.

— Палаты на втором этаже, — сказала Вера, пока мы поднимались по скрипучей лестнице. — Там лежачие. Внизу — те, кто ещё ходит. Общая гостиная, столовая, комната для молитв. Днём они собираются в гостиной. Смотрят телевизор, играют в лото. Или просто сидят и смотрят в стену.

— Кто — они?

— Постояльцы. Так их здесь называют. Не пациенты, не больные. Постояльцы. — Она выделила это слово голосом, как выделяют важный термин на лекции. — Потому что они

здесь живут. До конца.

Мы поднялись на второй этаж. Здесь было тише. Пахло лекарствами и ещё чем-то — может быть, молитвами, может быть, безнадежностью. Вера остановилась у третьей двери. Табличка на ней отсутствовала — только след от скотча и номер, нацарапанный шариковой ручкой.

— Михаил Степанович. Шестьдесят четыре года. Рак лёгких, четвёртая стадия, метастазы в позвоночник. Прогноз — месяц, может, два. Он знает.

— Что значит «знает»?

— Ему сказали. Здесь не врут. Это политика хосписа — честность до конца. Он знает, что умирает. Он думает об этом каждый день. Он смотрит в потолок и решает.

Я почувствовал, как сердце забилось быстрее. Решает. То самое слово. То, ради чего я сюда приехал.

— Можно мне войти?

— Можно. Но сначала послушай меня, Алексей.

Вера повернулась ко мне. Встала так, что я не мог пройти мимо. Её серые глаза смотрели жёстко, без тени улыбки. Так смотрят хирурги перед операцией, когда объясняют пациенту риски.

— Этот человек — не экспонат. Не зверь в зоопарке. Не персонаж твоей галереи. Он прожил жизнь — длинную, трудную, настоящую. У него есть дети. Внуки. Он заслужил уважение. Ты можешь снимать, но только если он согласится. Если попробуешь сделать это тайком — я тебя сдам сама.

Понял?

— Понял.

— И ещё. Когда будешь с ним говорить — не ври. Он умирает, но он не дурак. Умиравшие чувствуют ложь за версту. Они как собаки: слышат запах фальши раньше, чем ты откроешь рот.

Я поправил камеру на шее и открыл дверь.

В палате было светло — окно выходило на южную сторону, и скупое ноябрьское солнце лежало на полу жёлтыми квадратами. У стены стояла вторая кровать, пустая и аккуратно заправленная, с колючим казённым покрывалом. У тумбочки — букет искусственных цветов в стеклянной вазе, фотографии в рамках и стопка книг с потрёпанными корешками. Пахло лекарствами и свежим бельём.

А у окна, в кресле-каталке, сидел человек.

Он был худой — настолько, что больничная пижама висела на нём, как на вешалке. Ключицы выпирали, кожа на скулах была натянута так туго, что, казалось, вот-вот порвётся. Под глазами залегли тёмные круги — не просто синяки, а глубокие провалы, какие бывают у людей, которые давно не спят или уже одной ногой там.

Но взгляд — взгляд был живой. Не угасший. Цепкий, оценивающий, с той особой ясностью, какая приходит к людям, когда всё лишнее уже отпало.

— Михаил Степанович? — спросил я.

— Допустим. — Голос был хриплым, но спокойным. — А

вы, стало быть, фотограф? Вера предупредила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.